

**ТРАДИЦИИ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»  
В «ВОЙНЕ И МИРЕ» Л. Н. ТОЛСТОГО**

Проблема пушкинской традиции в романе «Война и мир» имеет в критической литературе историю, основание которой заложено первыми же читателями эпического романа Л. Н. Толстого.

«Ах — нет Пушкина! — восклицал непосредственно в связи с выходом «Войны и мира» М. П. Погодин. — Как бы он был весел, как бы он был счастлив, и как бы стал потирать себе руки. — Целую вас за него и за всех наших стариков. Пушкин — и его я понял теперь из вашей книги яснее, его смерть, его жизнь. Он из той же среды...»<sup>1</sup> (из письма к Толстому от 4 апр. 1868 года).

Ощущение явственного присутствия Пушкина, причастности его к современному литературному миру чаще всего приобретено у наблюдателей традиции форму, далекую от завершенных концепций. Близость к Пушкину они отстаивали как взгляд, сложившийся под впечатлением ряда литературных явлений. А. Н. Островский, например, утверждал в 1880 году, что «Пушкин оставил школу и последователей»<sup>2</sup>.

При этом Островский доказывал правомерность сугубо творческого подхода к пушкинскому наследию: «...я буду говорить не как человек ученый, а как человек убежденный. Мои убеждения слагались не для обнародования, а только про себя, так сказать для собственного употребления...»<sup>3</sup>.

Именно убеждение побудило Ф. М. Достоевского заявить, что в «Войне и мире» четко прослеживаются тенденции «Арапа Петра Великого» и «Повестей Белкина»<sup>4</sup>.

Н. Страхов нашел для себя в толстовском произведении «семейную хронику» Ростовых, которая, безусловно, сродни «хронике семейства Гриневых» и «бесмертным описаниям

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в 90 томах (юбилейное издание). М., 1927—1964, т. 61, с. 196. В дальнейшем: Л. Н. Толстой.

<sup>2</sup> А. Н. Островский. Застольное слово о Пушкине. Полн. собр. соч., т. 13, М., 1952, с. 166.

<sup>3</sup> Там же, с. 164.

<sup>4</sup> См.: Ф. М. Достоевский. Письмо к Н. Страхову от 5 апр. 1870 — В кн.: Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973, с. 415.

жизни Лариных, зимы, весны, поездки в Москву и т. п.»<sup>5</sup>. По мнению Страхова, «могучая, гармоническая сила, которая некогда сказала в Пушкине и с тех пор как будто обмелела..., вдруг снова воочию явилась нам, вдруг показалась нам в новых формах, но с тою же печатью несравненной прелести, здоровья, чистая, по своей простоте и внутреннему равновесию превосходящая самые высокие поэтические силы других народов»<sup>6</sup>. «Эта книга есть прочное приобретение нашей культуры, столь же прочное и непоколебимое как, например, сочинения Пушкина»<sup>7</sup>, — замечает Страхов.

По сравнению с дореволюционным литературоведением доводы советских ученых в значительной степени опираются на исторический и текстуральный анализ.

Так, А. В. Чичерин подошел к осмыслению романа-эпопеи через тщательное исследование пушкинских прозаических замыслов, показав, что без опыта Пушкина-романиста невозможно, в конечном счете, представить себе смысл и характер труда Толстого, завершившегося романом «Война и мир»<sup>8</sup>.

В статье «Война и мир» и русская литература 20—50-х годов XIX века» А. Сабуров особо выделяет творчество Пушкина с точки зрения воздействия, оказанного им на прозу Толстого. «Идя по пушкинскому пути в разработке главного героя (от Евгения Онегина — к Андрею Болконскому — Н. В.) и в декабристской тематике романа, Толстой, — как указывает Сабуров, — еще больше сблизился со своим «отцом» и «учителем» в теме народа»<sup>9</sup>.

Но вопрос об истоках «Войны и мира», о значении пушкинского искусства для Толстого — эпического писателя, при всей основательности данных работ все-таки нельзя считать разрешенным. Думается, что проблема литературной преемственности, выдвинувшая в качестве сопоставляемых факты писательской деятельности Пушкина и Толстого, требует дальнейшего, более глубокого изучения.

В особенностях это касается закономерностей отражения пушкинского романа в стихах в эпопее Толстого. До сих пор основательному разбору подвергалась лишь проза Пушкина в отношении ее к толстовскому художественному наследию (центр таких работ, как правило, составляют семидесятые годы и процесс неотделимой от Пушкина истории создания «Анны Карениной»<sup>10</sup>).

<sup>5</sup> Н. Страхов. Война и мир. Ст. 1. — В кн.: Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. СПб, 1887, с. 235.

<sup>6</sup> Н. Страхов. Война и мир. — В кн.: В. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого, ч. 6, М., 1900, с. 39—40.

<sup>7</sup> Там же, с. 41.

<sup>8</sup> См.: А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958.

<sup>9</sup> Лев Ник. Толстой. Сб. статей о творчестве. 2. М., 1959, с. 55.

<sup>10</sup> См., например: Н. К. Гудзий. Как начал Л. Толстой «Анну Каренину». — «Красная Новь», 1935, XI; Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семи-

Между тем, «Евгений Онегин», по-видимому, сыграл не меньшую роль в формировании Толстого-писателя. Об этом свидетельствует первое же упоминание Толстым пушкинского романа в 1856 году: «Читал Пушкина 2 и 3 часть: «Цыгане» прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая «Онегина», ужасная дрянь»<sup>11</sup>. Столь же подчеркнуто роман в стихах отнесен к числу книг, «произведших», по мнению позднего Толстого, «очень большое» впечатление на него в возрасте от 14 до 20 лет<sup>12</sup>.

Таким образом, сознание Толстого-художника выделяло произведение Пушкина на протяжении всей жизни Толстого, признавая за ним особое, неизменно высокое место.

Роман «Война и мир» Толстой с полным правом мог бы посвятить Пушкину — как роман, где возрождается именно пушкинская, онегинская эпоха. «Евгений Онегин», бесспорно, был интересен Толстому как лучшее, вернейшее ее отражение. В пушкинском сочинении Толстой нашел Время (которое занимало его в связи с собственным литературным трудом), запечатленным в бесчисленных, неповторимых приметах, ценных особенно как предмет гениальной, коснувшейся их поэзии. Центром романа Пушкина явился герой, который позволил Плетневу заметить (в связи с появлением первой главы романа): «Онегин твой будет карманным зеркалом петербургской молодежи»<sup>13</sup>.

Припоминая в 1834 году со Сперанским эпоху, совпавшую с детством Онегина и предопределившую затем, у Толстого, судьбы героев «Войны и мира», Пушкин, прислушиваясь к Сперанскому, почерпнул для себя совет: «Писать Историю моего времени» (XII, 324). В сущности же, «Евгений Онегин» по-своему уже разрешил проблему такой истории и, подавая совет Пушкину, Сперанский, возможно, основывался на хорошо известном ему опыте Пушкина-романиста.

Первым читателям «Евгения Онегина» достаточно было слова, намек, имени вскользь упомянутого лица, игры интонационных оттенков, чтобы представить себе многое из того, что Пушкин не мог или не желал сказать, руководствуясь рядом собственных соображений. Некоторые из них поэт изложил в предисловии к первой главе романа. Он настойчиво обращал внимание публики на «достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблю-

---

десять годы. Ч. 3 «Анна Каренина», Л., 1974; В. Горная. Из наблюдений над стилем романа «Анна Каренина». О пушкинских традициях в романе — В сб.: «Толстой-художник». Изд. АН СССР, М., 1969; Э. Г. Бабаев. Гл. «Благодаря Пушкину». — В кн.: Роман и время. Тула, 1975 и др.

<sup>11</sup> Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955, с. 33.

<sup>12</sup> Там же, с. 259.

<sup>13</sup> Цит. по кн. Н. Л. Бродский. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина. М., 1964, с. 21.

дение строгой благопристойности в шуточном описании нравов» (VI, 638). Пушкин, по-видимому, продолжал думать — как в юношеском своем стихотворении — «что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом». «Смело предлагайте им («Дамам» — Н. В.) произведения, где найдут они под легким покрывалом сатирической веселости наблюдения верные и [занимательные]» (VI, 528), — писал он в черновой редакции предисловия.

Может быть, именно в силу этого замечания достаточно смелые, заострявшие социальные проблемы эпохи неизменно смягчаются, даже исчезают совсем в беловом варианте пушкинского романа.

«Бояр соседственных селений  
Ему не нравились пиры», —

хотел написать Пушкин, но тут же предпочел избрать более нейтральное слово: «Господ соседственных селений...» (VI, 273).

«И скучно все как нищета», — замечал он по поводу деревенских впечатлений Онегина. «а. Как крепостная нищета; б. Иль крепостная нищета» (VI, 373), — осталось, как непригодное, в иных вариантах. Примеры можно умножить.

Пушкин, как видно, был твердо уверен в том, что, несмотря ни на что и даже вопреки явному, современники все же точно поймут его, угадав, что скрывается за крайней степенью обобщений. В этом деле он первый спешил им на помощь, постоянно указывая на автора романа в стихах, чье лицо, не взирая на рамки повествования, выступает лирическим, крупным планом. С первых же строк публика, согласно воле поэта, узнавала в нем автора любимых произведений: «Руслана и Людмилы», южных поэм, «благоуханной» любовной лирики. Описание деревни Онегина в начале второй главы рождало — по сходству пасторальных мотивов — ассоциацию с ранней «Деревней» (1819), и не только с первой, но и со второй частью, которой в читательском восприятии заменялась картина онегинского «приюта». В черновиках синтетический характер романа, вошедшего в себя ранние или будущие аспекты творчества, проявил себя наиболее полно.

Так, размышления Пушкина над могилой Ленского в день, когда Ольга обвенчалась с уланом, словно принадлежат уже к новому, позднему творческому процессу — связанному с трагедией «Каменный гость»:

«По крайней мере из могилы  
Не вышла в сей печальный день  
Его ревнующая Тень  
И в поздний час, Гимену милый,  
Не испугали молодых  
Следы явлений гробовых» (VI, 422).

Читателями 30-х годов оба произведения соотносились с конкретной, живой личностью автора.

Публика видела в «Евгении Онегине» порождение самой жизни — жизни опального, взывающего к свободе поэта и жизни его стихов, наводнивших собой Россию. Современниками роман в стихах читался в контексте своей эпохи (как в цикле историко-литературных статей Белинского) — и потому поэт мог смело воссоздавать образ Времени, которое в этом случае служило ему надежным и лучшим истолкователем.

Совсем на иную позицию должен был стать Толстой, приступивший к «истории» пушкинской «поры», которую нужно было раскрыть средствами эпического романа. Он не мог, подобно Пушкину, исходить из времени, так как пушкинское время давно ушло; вместе с тем Толстой не доверял документам, считая, что они не передают всей истины. Живое, лирическое чувство эпохи 1805—1820 годов, столь доступное каждому, познавшему пушкинский мир современнику, для историков-романистов позднейших лет стало проблемой писательского искусства.

Там, где Пушкину — как поэту — хватило бы и намека, ибо читатели с полуслова улавливали социальный подтекст сказанного — Толстому в повествовательном жанре понадобилось вскрывать собственно человеческую природу явлений, дабы, основываясь на ней, передать характер общественного развития. Толстой сознавал для себя лишь один путь к правде: сживаясь с чужой для него эпохой, проникнуть в такой смысл вещей, который всегда, во все времена, остается нетронутым и нетленным. Он полемически заявлял, что «Война и мир» есть «история человеков»<sup>14</sup> (а не история Времени). «В те времена так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственная жизнь, даже иногда более уточненная, чем теперь в высшем сословии»<sup>15</sup>, — читаем в заметках к «Войне и миру».

И — что было так важно для Толстого — Пушкин писал об этом в «Евгении Онегине»:

«У всякого своя охота,  
Своя любимая забота,  
Кто целит в утку из ружья,  
Кто бредит рифмами как я,  
Кто бьет хлопущей мух журнальных,  
Кто правит в замыслах толпой,  
Кто забавл(яется) войной,  
Кто в чувствах нежится печальных,  
Кто занимается вином,  
И благо смешано со злом» (VI, 370)

Толстой ориентировался на вечное содержание жизни, которое находил в пушкинском романе в стихах, где сами при-

<sup>14</sup> Л. Н. Толстой, т. 13, с. 73.

<sup>15</sup> Л. Н. Толстой о литературе, с. 116.

меты времени обретали смысл потому, что нужны были в мире человеческих отношений. Здесь Толстой непосредственно шел за Пушкиным, угадывая в нем то, что прошло незамеченным для ровесников созданного поэтом, слишком близких к предмету изображения, увлеченных поэзией действительной жизни. Для Толстого в произведении Пушкина выступили на первый план отнюдь не проблемы крестьянского состояния, «литературы, эмансипации женщин и т. п.», типичные для романа «на современную тему»<sup>16</sup>. Он считал, что «эти вопросы в мире искусства не только не занимательны, но их нет»<sup>17</sup>. В то же время каждый из социальных вопросов волновал его своей человеческой правдой, своей непридуманной злободневностью, которые и в эпоху толстовского творчества оставались по сути те же.

Оказалось, что именно такой актуальностью более всего дорожил Пушкин. Отражая нападки журнальной критики, он писал совсем в духе Толстого: «В одном из наших журналов сказано было, что VII глава не могла иметь никакого успеха, ибо Век и Россия идут вперед, а стихотворец остается на прежнем месте. Решение несправедливое (т. е. в его заключении). <Если> Век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, — то поэзия остается на одном месте, не старе<е>т и не изменя<е>тся. Цель ее одна, средства те же» (VI, 540—541). И — в вариантах: «а. Таково именно ее свойство; б. Ибо душа человеческая с ее волнениями и страстями всегда одна в [ее] своих разнообр<азных> изменениях (человек с его всегдашними страстями)» (VI, 541).

Таким образом, Пушкин отстаивал вечное в том, что составляло характер эпохи. Он как бы предоставлял возможность позднее избравшим ее художникам проникнуть в заветные ее тайны. Опираясь на собственный жизненный опыт, каждый из них мог, в той или иной степени, вообразить себе и войну, и мир былых поколений. И единственным даром, нужным для этого: узнавать человека «в самом себе»<sup>18</sup> — именно Толстой, подошедший к «Войне и миру», обладал безусловно и в полной мере.

«...Это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли..., — отмечал по поводу первых произведений писателя Чернышевский, — но еще, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще (курсив мой. — Н. В.), для разгадывания

---

<sup>16</sup> Л. Н. Толстой о литературе, с. 100.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Н. Г. Чернышевский. Собр. соч., т. 3, М., 1974, с. 339.

характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений»<sup>19</sup>.

Пушкин, в сущности, predetermined направление литературной мысли Толстого: не полагаться вполне на «характер того времени, который живет в нашем представлении»<sup>20</sup> как традиционное воззрение поколений — но составить свое понятие об эпохе, основанное на том, что «на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины и женщины того времени»<sup>21</sup> (как писал Толстой в черновом предисловии к роману «Война и мир»). «Больше всего меня стесняют предания, как по форме, так и по содержанию»<sup>22</sup>, — указывал он там же. Толстой заявил, что «перенестись к... молодости» своего героя, которая «совпадала с славной для России эпохой 1812 года», понадобилось прежде всего затем, «чтобы понять его»<sup>23</sup>. Каждый из дорогих Толстому героев в процессе романа-эпопеи стремится «понять себя» (Пьер: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я?» и т. п.). В конечном счете именно это и позволяет осмыслить пушкинскую эпоху в ее основном, социальном качестве.

Соответственно, герой романа Толстого в наибольшей степени творец своей судьбы и судеб мировой истории, нежели, допустим, Евгений Онегин. Это обусловлено самим изначально творческим подходом Толстого к решению той задачи, которую до него, согласно своему Времени, уже разрешил Пушкин. Роман Толстого «Война и мир» есть «история — искусство»<sup>24</sup> в самом точном осуществлении этого жанра, возникшего именно в тот момент, когда заново потребовалось исследовать «в вымышленном повествовании» жизнь людей первой четверти девятнадцатого столетия.

Если Пушкин, реалистически сознавая проблемы своего времени, мог считать просто фактом обреченность Онегина, отразившуюся в суждении о себе самом:

«Я жертва долгих заблуждений  
Разврата пламенных <?> страстей  
И жажды сильных впечатлений  
И бурной [юности] моей  
Привычкой жизни избалован  
Одним когда-то очарован  
Разочарованный другим  
Всегда желанием томим  
Скучая ветренным успехом  
Внимая в шуме и в тиши

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Л. Н. Толстой о литературе, с. 116.

<sup>21</sup> Там же, с. 112.

<sup>22</sup> Там же, с. 111.

<sup>23</sup> Там же, с. 112.

<sup>24</sup> Курсив Л. Н. Толстого. Там же, с. 133.

Роптанье вечное души  
Зевоту подавляя смехом  
Провел я много-много лет  
Утратя жизни лучший цвет» (VI, 342—343)

— то для Толстого тем и важна была новая, творимая им история, что участники ее только с виду могли показаться «жертвами» обстоятельств, а на деле представляли собой «людей таких же, как мы, могших выбирать между рабством и свободой, между образованием и невежеством, между любовью и ненавистью»<sup>25</sup>.

Толстой в «Войне и мире» стремился подчеркнуть, что воюющие стороны накануне Шенграбенского сражения могли (и должны были) — после нескольких минут «здорового и веселого хохота» — «разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам»<sup>26</sup>. Но они — сознавая в душе последствия — захотели избрать иное: «ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки»<sup>27</sup>.

Творчески создаваемая Толстым история получалась иного типа, чем та, о которой писал Белинский, называя «Онегина» «поэмой исторической в полном смысле слова»<sup>28</sup>. Но это была история, единственно нужная современникам — ибо в ней искали и находили отнюдь не буквальное приложение литературного опыта прошлого, а действительно новое, весомое слово, которое справедливо оценивалось как продолжение и развитие лучших литературных традиций.

Толстой, вслед за Пушкиным, ставил и разрешал вопросы, всегда глубоко волнующие и современные: о значении обстоятельств, о роли личности, о преобразовательных возможностях человека. Многие — по сравнению с романом в стихах — оказались критически пересмотренными, однако по сути «Война и мир» все-таки тяготеет к пушкинскому роману.

Именно Пушкин, затем Толстой показали, что каждый из их героев составляет особенный, свой мир, сочетающий аспекты внутреннего и внешнего. Видимо, имея в виду Пьера, Толстой писал: «Весною идет домой, и все надо устроить, и он *центр вселенной* (курсив мой. — Н. В.), и все для него, и все должны знать, и он покупает конфеты, и все это радостно»<sup>29</sup>. Из взаимодействия всех человеческих «миров» складывается общее течение жизни, ее философская и житейская стороны — то, что образует основу романа. Приступая к роману «Война и мир» как к возможному всестороннему осмыслению жизни,

<sup>25</sup> Л. Н. Толстой, т. 13, с. 72.

<sup>26</sup> Л. Н. Толстой, т. 9, с. 214.

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> В. Г. Белинский, собр. соч., т. 3, СПб., 1896, с. 573.

<sup>29</sup> Л. Н. Толстой, т. 13, с. 50 (№ 41, рук. № 37).

Толстой, безусловно, решал для себя вопрос о преобладающем в том или ином «мире» нравственном содержании — действительного и мнимого, идеального и реального, хорошего и дурного.

В романе отозвались вопросы, наиболее важные для Толстого 50-х годов: «Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?» Молодой Толстой заключал: «В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединением того и другого»<sup>30</sup>.

С той же дилеммой: соотношения мечты и действительности, поэзии и «голой» прозы — когда-то столкнулся Пушкин, отразив в «Евгении Онегине» два контрастных по типу восприятия жизни. С одной стороны, Онегин с его глубоким, безрадостным реализмом, с другой — Владимир Ленский, мечтатель, поэт, не знавший на свете счастья и подлинного несчастья в силу полнейшего неведения жизни вообще.

Белинский писал: «Онегин — характер действительный в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастливым или несчастным только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер совершенно противоположный характеру Онегина, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности»<sup>31</sup>.

Очень условно, но именно в главных чертах характеры Ленского и Онегина можно считать продолженными в лучших героях «Войны и мира». Пьер — до некоторой степени образ мечтателя, князь Андрей — воплощение трезвого реалиста. Так же, как и Онегин, Болконский «торопит жизнь» в поисках счастья, признания, идеала — и, подобно пушкинскому герою, думает отыскать их во внешнем мире. «Хочешь знать, счастлива ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю», — говорит он сестре, подводя итог первому, так сказать, светскому периоду своей жизни. «Ну, для чего вы идете на войну?» — спрашивает князя Андрея Пьер и слышит в ответ: «Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду... — Он остановился. — Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!». Так Болконский, на свой лад, повторяет лейтмотив онегинских настроений:

«Им овладело беспокойство,  
Охота к перемене мест  
(Весьма мучительное свойство,  
Немногих добровольный крест).  
Оставил он свое селенье,  
Лесов и нив уединенье...» (VI, 170—171).

<sup>30</sup> Л. Н. Толстой, собр. соч. в 20 т., т. 19, М., 1965, с. 68.

<sup>31</sup> В. Г. Белинский, т. 3, с. 608.

В черновиках князь Андрей еще более «родственен» пушкинскому герою: «В минуту отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. ...Он (князь Андрей — Н. В.) чувствовал, что ничего не любил, ничего ему не хотелось. В прошедшем представлялась ему однообразная петербургская жизнь в гостиных, среди людей, которых он давно выучился презирать всех без исключения, успехи в свете, которых так легко было достигнуть, и успехи у женщин, которые не доставляли ни удовлетворения, ни наслаждения, а только чувство, похожее на раскаяние»<sup>32</sup>.

Примечательно, что перемена обстановки и образа жизни сами по себе представляются этим героям средством от надоевших душевных недугов, наиболее реальной возможностью обновления. Ведь по сути, весь путь Болконского — с его постоянными моральными колебаниями и, почти всегда, соответствующими им перемещениями в мире внешнем — нисколько не меньше «странствия», чем известные путешествия Онегина по России. Разница только в том, что Онегин до самого конца «не знает, чего ему надо, чего ему хочется»<sup>33</sup> — Болконский же отрицательное реальное знание сочетает периодически с деятельным стремлением к новой цели. «Я знают в жизни только два действительные несчастья: угрызения совести и болезнь», — говорит князь Андрей Пьеру в тяжелую пору жизни. — И счастье есть только отсутствие этих двух зол». Но — проходит немного времени — и он с такой же одушевленностью отстаивает новое «уложение» в Петербурге, сочиняет законопроект и восторженно строит планы семейной жизни с Наташей.

Наиболее «действительные» герои Пушкина и Толстого бывают иногда счастливы, а чаще всего несчастны в зависимости от того, как обернется к ним жизнь, и характерное, привычное для них чувство — чувство недовольства этой жизнью, обиды на нее за постоянный обман, уверенность в призрачности и ненадежности настоящего. Князь Андрей, в итоге, навек отрывается от земной жизни, как бы подчеркивая этим свое окончательное презрение к изменчивой и иллюзорной реальности. (Жизнь в последний раз горько обманула Болконского: в момент наивысшей его любви ко всему живому она предала его, покинув на волю случая и неожиданной скорой смерти). Новое, открывшееся ему в связи с войной 1812 года ощущение братской близости к людям утратило прежний смысл и перешло в свою крайность: «Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этой земною жизнью».

---

<sup>32</sup> Л. Н. Толстой, т. 13, с. 262.

<sup>33</sup> В. Г. Белинский, т. 3, с. 598.

Андрей Болконский в конце жизненного пути, конечно, не «банкрот», как Онегин в восьмой главе пушкинского романа:

«И как в потемках в усыпленье <sup>1</sup>  
И чувств и дум впадает он <sup>2</sup>  
И перед ним воображение <sup>3</sup>  
Свой пестрый мечет фараон <sup>4</sup>.  
Виденья быстрые лукаво <sup>5</sup>  
Скользит налево и направо <sup>6</sup>  
И будто насмех ни одно <sup>7</sup>  
Ему в отраду не дано... <sup>8</sup>»  
В вариантах: «7. а. И как отчаянный игрок  
                  б. Как недорезанный игрок  
8. Далее следовало:  
Бывало [Довольно] счастием сердечным  
Покоем, жизнью был богат —  
Все проиграл  
И все проиграно  
[Отрады нет он]  
[Все ставки жизни проиграл] (VI, 519).

Болконский многое взял от жизни, он умирает в расцвете жизненных сил. Тем не менее Толстой, по-особому споря с Пушкиным, склонен довольно строго судить своего героя. Ирония всех оттенков, столь обычная в пушкинском повествовании об Онегине, сменяется у Толстого серьезным и, видимо, настороженным отношением к жизненной позиции и душевным свойствам князя Андрея. Вряд ли Толстого могло удовлетворить то, что в свое время писал Белинский, объясняя трагедию «действительного» характера: «Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самой действительностью, а не теорией; но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних?» <sup>34</sup>.

По Толстому, «общественные потребности» просто не могут, не в состоянии отразить истинных, действительных потребностей человека; между ними глубокий и давний антагонизм, и величайшей ошибкой было бы полагать, что действительность может создать условия для полноценной, счастливой жизни. Так, Нехлюдов (роман «Воскресение») «был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело» — до тех пор, пока не «перестал верить себе», потому что «верить другим» и жить, как подсказывает действительность, было удобней и легче. Прежде «божий мер представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать, — теперь все в этой жизни было просто и ясно и определялось условиями жизни, в которых он находился. Тогда нужно и важно было общение с природой и с прежде него жившими, мыслящими и чувствовавшими людь-

---

<sup>34</sup> В. Г. Белинский, т. 3, с. 600.

ми (философия, поэзия), — теперь нужны и важны были человеческие учреждения и общение с товарищами» и т. п.

Бесспорно, Болконский в «Войне и мире» не отвечает характеристике «развращенного, утонченного эгоиста, любящего только свое наслаждение» (таков для Толстого Нехлюдов в начале его романа). Князь Андрей (что особенно зримо в черновиках) любит и философию, и поэзию и — так же, как Евгений Онегин — сочувствует смелым и благородным идеям. «Расина я люблю. Это поэзия. Вольтера.<...> ...и Rousseau я люблю, но только не Nouvelle Héloïse, а Contrat social. Эту поэзию я понимаю»<sup>35</sup>, — так говорит он Пьеру, но здесь же и выясняется, сколь многое — вне пределов его понимания. «И когда это было, и зачем это все. И отчего это неясно. Признак величия — ясность»<sup>36</sup>, — замечает Болконский, имея в виду творения Гомера, Шекспира, Гёте. «Пьер с ужасом слушал святотатственные для него речи своего приятеля, но улыбался через очки, глядя на него.

— Нет, ты лишен этого. В тебе нет этого чувства. Подумай пожалуйста. Я понимаю и Гёте, и Вольтера, и Nouvelle Héloïse, и Contrat social. Отчего же ты только одно? Ты лишен большого счастья. Вот я прочел эту пьесу и мне слезы выступили не оттого, что я выпил»<sup>37</sup>.

В черновых рукописях Толстой подчеркивал, что князь Андрей имел ум «холодный, односторонний, логический»<sup>38</sup>. «— Зачем вы служите в военной службе?» — спрашивает его Билибин. «— Затем, что раз я избрал эту карьеру, чувствую себя к ней способным, — отвечал князь Андрей без малейшего замешательства и не отклоняясь от такого анализа своих побуждений, которые для него все были логически ясны и последовательны. — Затем, что я честолюбив, затем, что я люблю славу...». Когда Билибин пытается возразить, что «служить, это значит воевать, убивать людей» и т. п., «Болконский смотрит на него, не понимая». На полях Толстой сделал пометку: «Князь Андрей односторонний ум, узкой и оттого ясный и твердый»<sup>39</sup>.

По-видимому, в том же ключе надлежит рассматривать мысль Толстого (возникшую в 1867 году после письма Фета), что есть «ум ума и ум сердца»<sup>40</sup>; сам Толстой, безусловно, предпочитал последний.

Болконского писатель относит к числу «людей действующих»<sup>41</sup> и, понимая парадоксальность этого, все же настаивает на том, что деловитость и полная ясность ума не делают жизнь людей ни менее запутанной, ни счастливой. Всем существом

<sup>35</sup> Л. Н. Толстой, т. 13, с. 231.

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> Там же.

<sup>38</sup> Там же, с. 37.

<sup>39</sup> Там же, с. 351.

переживая действительность 1809—1810 годов, всерьез занимаюсь делами, затеянными Сперанским, князь Андрей «забывал, так же как и все, что жизнь (и его жизнь) с воспоминанием о жене, с любовью к сыну, к сестре, к отцу, с разговорами с Риеггом, с дубовыми мыслями шла помимо и вне всяких правительственных распоряжений, он забывал, что ни ответственность министров, ни палаты представителей, ни свобода крестьян и печати не могли ни на волос прибавить или убавить его настоящего счастья. Ему казалось все это очень важным. Мало того, он забывал часто даже самое дело и видел одни препятствия и от любви к делу переходил к ненависти к тем, кто мешал делу. И считал столь же полезным казнить, враждовать со стариками, сколько и делать дело, забывая, что этим самым враждованием он уже портил и для себя и для других жизнь, которую он хотел сделать более счастливой»<sup>42</sup>.

Отсюда (и в этом-то, по Толстому, опасность!) уже не так далеко до сухого, цинического практицизма Бергов и Друбецких, забывающих о всех других людях и считающих, что единственная разумная жизнь — жизнь исключительно для личного блага.

Чем менее принадлежит себе человек, чем больше довлеют над ним условности внешнего мира, тем глубже, непоправимей его ошибки и горше раскаяние (если оно приходит). Тезис Белинского о том, что несчастье и счастье зависят лишь от действительности и осуществляются «через нее», для Толстого, уверившегося, что общество со времен Пушкина не сделалось совершенней, естественно обретает проблематичность. Через образ Болконского (и, соответственно, его во многих отношениях антипода — Пьера) словно бы происходит синтез воззрений молодого Толстого и Толстого периода «Воскресения» на автономность человека в любой среде, на обязательность прочной моральной основы как абсолютного критерия всех поступков; мыслей о том, что при осмыслении бытия человек может смело и безгранично верить только себе, понимая, как зыбко и относительно знание, почерпнутое из чужой жизни.

Только при этих условиях человек, оставаясь в обществе, все-таки в состоянии быть счастливым. Он находит необходимое для себя в мире высокой духовной жизни, в области вневременных интересов, лишь исходя из которых сам создает свое настоящее.

Пьер в романе «Война и мир» оказывается наиболее жизнестойким из пушкинских и толстовских героев, несмотря на то, или, скорее, благодаря тому, что в моменты сугубо житейских волнений (как, например, вопрос о наследстве) он, един-

<sup>40</sup> Курсив Л. Н. Толстого, Л. Н. Толстой о литературе, с. 114.

<sup>41</sup> Л. Н. Толстой, т. 13, с. 692.

<sup>42</sup> Там же, с. 692—693.

ственный, был спокоен, «увлеченный либо каким-нибудь страстием, либо какою-нибудь отвлеченною мыслью»<sup>43</sup>. «На все житейские события жизни он смотрел кротко и равнодушно, как будто из неизмеримой дали. Ему было все равно, только бы не трогали его умственных интересов»<sup>44</sup>. И в то же время Безухов живет очень полной, глубокой жизнью, не только не забывая главного в ней, но, напротив, легко узнавая его повсюду. «Он и его друг Андрей в этом взгляде на жизнь были до странности противоположны один другому. Риегге всегда хотел что-то сделать, считал, что жизнь без разумной цели, без борьбы, без деятельности не есть жизнь, и всегда он ничего не умел сделать того, что хотел, а просто жил, никому не делая вреда и многим удовольствие. Князь Андрей, напротив, с первой молодости считал свою жизнь конченною, говорил, что его единственное желание и цель состоят в том, чтобы дожить остальные дни, никому не делая вреда и не мешая близким себе, и вместе с тем, *сам не зная зачем* (курсив мой. — Н. В.), с практической цепкостью ухватывался за каждое дело, и увлекался сам, и других увлекал в деятельность»<sup>45</sup>.

Пушкин, сопоставляя Онегина с Ленским, уверенно оставлял будущее за натурой «действительной» и этим утверждал победу реальности над эфемерностью самой лучшей мечты. Толстой, продолжая и тут же отталкиваясь от Пушкина, сделал любимым героя, чьи помыслы и мечты получили реальное воплощение в жизни именно потому, что несли в себе силы преобразовывать ее к лучшему.

Но, надо думать, что притягательность пушкинского периода и пушкинского романа в стихах как раз и была связана для Толстого с многоплановостью этих воззрений, с интенсивным развитием в жизни начала века «вечных проблем», особенно интересных писателю.

Полнота и неоднородность существования были осмыслены Толстым еще в «Отрочестве»: вспомним, насколько важны для него колебания Николеньки — то по пяти минут держащего в вытянутых руках лексиконы Татищева под влиянием мысли, что «счастье не зависит от внешних причин», то предающегося «земным наслаждениям» после раздумий о краткости этой жизни.

Пушкинская эпоха, как никакая другая, давала возможность для всестороннего, глубокого анализа бытия. В интересной характеристике одного из дореволюционных исследователей она предстает как эпоха, когда «в одних кружках происходила серьезная умственная работа, кипела идейная жизнь», а в других — «происходило нечто совершенно иное,

---

<sup>43</sup> Л. Н. Толстой, т. 13, с. 184.

<sup>44</sup> Там же, с. 227.

<sup>45</sup> Там же, с. 802.

но тоже свидетельствовавшее об избытке сил, о силе биения пульса жизни»<sup>46</sup>.

Стремление постичь и воссоздать жизнь во всех ее проявлениях, коснуться бесчисленных неизменных сторон души, несомненно, сближает Пушкина и Толстого, делая правомерным вопрос о созвучии двух великих романов, о тайнах и откровениях проблемы преемственности.

---

<sup>46</sup> Н. И. Коробка. Личность в русском обществе и литературе начала XIX века. СПб, 1903, с. 10.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
им. А. И. ГЕРЦЕНА

# ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ЛЕНИНГРАД · 1977